ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ (1811—1848)

I

Жизнь Виссариона Григорьевича Белинского не богата внешними событиями. По своему происхождению он был настоящим «разночинцем». Его отец служил лекарем сначала в Балтийском флоте, а потом, на своей родине, в городе Чембаре. Виссарион Григорьевич родился в 1811 г. (до сих пор не выяснено, в феврале или в мае) в Свеаборге, где стоял тогда флотский экипаж, в котором служил его отец. Детские и отроческие годы его протекли в Чембаре и в Пензе. Они оставили в его душе мало отрадных впечатлений. Его отец запивал, а его мать была, по-видимому, довольно ограниченной, сварливой женщиной. Материальное положение семьи всегда было очень стесненным. Но у отца Белинского были также несомненные достоинства. По своему образованию он резко выделялся из окружавшей его среды чиновников, с которыми у него были постоянные неприятности. Его родственник, Д. П. Иванов, думает, что его рассказы о чиновничьих плутнях сильно действовали на маленького Виссариона. Кроме прелестей чиновничьего быта, Белинский рано мог наблюдать также и темные стороны барства. Мы можем с уверенностью сказать, что ужасы крепостного права оставили глубокий след в его душе. Учился он сначала в Чембарском уездном училище, потом в Пензенской гимназии, куда он определился летом 1825 г.; наконец, в Московском университете, студентом которого он стал осенью 1829 г. Но школьное преподавание, как низшее и среднее, так и высшее, было тогда очень неудовлетворительно, и если Белинский тем не менее обладал немалыми знаниями, по крайней мере литературными, то этим он обязан был прежде всего самому себе и еще некоторым счастливым жизненным встречам. Бывший учитель Пензенской гимназии Попов писал о нем: «В гим-

назии он учился не столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее же в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей если не глубоко ученых, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Эти люди, большею частью молодые, кипели жаждой познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы... В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи»[1].

С этим вполне согласны свидетельства кн. В. Ф. Одоевского: «У нас Белинскому учиться было негде,— говорит он,— рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей части наших профессоров порождала в нем лишь презрение; нелепые преследования — неизвестно за что — развили в нем желчь, которая примешалась в его своебытное философское развитие и довела его бесстрашную силлогистику до самых крайних пределов»[2].

Оставляя в стороне вопрос о «желчной» силлогистике, прибавим, что Белинский был избавлен от удовольствия до конца насладиться «рутинизмом наших университетов»: в сентябре 1832 г. он был исключен из университета за «неспособность». На самом деле причиной его исключения была написанная им трагедия «Дмитрий Калинин», один из героев которой обращался к «Отцу человеков» с дерзостным запросом насчет «змиев, крокодилов и тигров, питающихся костями и мясом своих ближних»[3] (речь шла о крепостном праве). В цензурном комитете заседали в то время университетские профессора, тотчас же взявшие молодого автора, как говорится, на замечание. Трагедия была представлена в цензуру в 1831 г., а в половине 1832 г. уже состоялось его исключение. Сам Белинский определял причину исключения так: «Отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства. Ныне времена мудреные и тяжелые: подобные происшествия очень не редки...»[4].

Бедность преследовала Белинского всю жизнь. Она окончательно подломила его всегда слабое здоровье и свела его в безвременную могилу. Она же подшутила над ним еще более злую шутку, осудив его на тяжелую борьбу за жизнь и тем лишив его возможности систематически пополнять пробелы своего образования. Это последнее обстоятельство поставило его в не совсем правильные отношения к членам того кружка, о котором говорит Попов в цитате, сделанной нами выше, и который имел решительное влияние на ход его умственного развития. Этот кружок — знаменитый кружок Станкевича, где со времени отъезда этого последнего осенью 1837 г. за границу играл чрезвычайно видную роль М. А. Бакунин,— состоял по большей части из людей, обеспеченных в материальном отношении и с детства хорошо владевших иностранными языками. Белинский, читавший по-французски, но не знавший ни английского, ни немецкого языка, по необходимости должен был стать по отношению к своим друзьям в неудобное положение человека, пользующегося их посредством для своего ознакомления с иностранными литературными и философскими источниками. Нам кажется, что историки нашей литературы до сих пор не обратили на невыгодность этого положения всего того внимания, какого оно заслуживает. Мы кратко характеризуем его, сказав, что оно иногда ставило Белинского в положение ученика таких людей, которые далеко уступали ему по своей умственной силе.

Это замечание во всяком случае относится к М. А. Бакунину, который после Станкевича излагал Белинскому философию Гегеля, и еще более к Каткову, при помощи которого наш критик знакомился с гегелевской эстетикой. Что касается Н. В. Станкевича, то мы не решимся утверждать, что Белинский превосходил его силой ума. Сам Белинский был, по-видимому, расположен смотреть на него снизу вверх. Однако это ровно ничего не доказывает. Белинский знал себе цену, но, чуждый ревнивого себялюбия, он идеализировал своих друзей и преувеличивал их достоинства *. Н. В. Станкевич был, несомненно, человеком очень выдающегося ума, но он во всяком случае не

* В одном из своих писем к Боткину он говорил полушутя о Каткове: «Не забудь, что мы с К. соперники по ремеслу, а я по моей натуре способен всегда видеть в сопернике бог знает что, а в себе меньше, чем ничего» [5]. Здесь под шуткой скрывалась неоспоримая истина.

имел ни малейшего основания относиться к Белинскому, по свидетельству И. С. Тургенева, несколько насмешливо. Такая насмешливость, которую, впрочем, сам Тургенев называет дружественной, понятна лишь как скрытое под приятельской шуткой неодобрение тех «крайностей», которыми Белинский так сильно поражал всех своих друзей, не исключая и А. И. Герцена. Прозвище «неистовый Виссарион» он получил именно от Станкевича. Но тут кстати будет припомнить слова Гегеля: без страсти не делается ничего великого. «Неистовый» характер Белинского сделал то, что наш критик заглянул в проклятые вопросы того времени так глубоко, как это никогда не удавалось сделать Станкевичу.

Замечательно, что Белинский был едва ли не единственным разночинцем в своем кружке. Известно, что и впоследствии, в 60-х и 70-х годах, разночинец относился к «проклятым вопросам» далеко не так сдержанно, как просвещенные представители дворянского сословия. «Неистовство» Белинского как бы прообразовало собой будущие литературные «неистовства» Чернышевского, Добролюбова и их последователей. Недаром люди «шестидесятых» годов так горячо почитали Белинского...

После исключения из университета Белинский, претерпев жестокую бедность, нашел у Надеждина постоянную литературную работу. Сначала он занимался переводами, но уже в сентябре 1834 г. он дебютировал на страницах «Молвы» в качестве литературного критика знаменитой статьей «Литературные мечтания» (элегия в прозе). С этих пор он не переставал писать сперва у Надеждина, т. е. в «Молве» и «Телескопе» (1834—1836 гг.), потом в «Московском Наблюдателе» (1838—1839 гг.), в «Отечественных Записках» (1839—1846 гг.) и, наконец, в «Современнике» (1846—1848 гг.). На некоторое время литературная деятельность его была прервана (1836—1838 гг.) лишь «по независящим обстоятельствам»: вследствие запрещения «Телескопа» осенью 1836 г. *

* Добавим, что Белинский напечатал одно стихотворение в «Листке» 1831 г., написал в 1839 г. пятиактную драму «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь»; поместил несколько статей в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» за тот же год и одну статью (об А. Д. Кантемире) в «Литературной Газете» (№№ 6, 7 и 8) за 1845 г. Далее, он в том же году написал статью «Москва и Петербург» для I части Сборника «Физиология Петербурга», а в 1846 г. в «Петербургском Сборнике» появилась его статья «Мысли и заметки о русской

Летом 1843 г. Белинский сблизился в Москве с классной дамой одного из московских институтов, в том же году ставшей его женой. Характер его отношений к жене до сих пор выяснен очень мало. Пыпин кратко говорит о них: «Он (Белинский.— *Г. П.*) внес в эти отношения все увлечение, какое отличало его характер: он был исполнен ожиданий,— должно было кончиться одиночество, подавлявшее его среди трудной внешней деятельности; он ждал целого переворота в своей жизни...

У домашнего очага началась для него новая жизнь, с ее особыми интересами и тревогами, которые могли быть только его личной заботой... Белинский продолжал много работать и даже работал больше прежнего» [6].

Наружность Белинского так описывается Тургеневым: «Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалою грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки... Притом же (в последние годы) он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» (стих г. Некрасова). Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, тот не мог составить себе верного о нем понятия... Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он носил обыкновенно серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно...» [7].

К этому надо прибавить, что, по словам Тургенева, известный литографический портрет Белинского дает неверное понятие об его наружности.

II

Бедная внешними событиями жизнь Белинского ознаменовалась настоящими бурями в умственной области. Значение этих бурь до сих пор неясно многим и многим из его почитателей. Почитателей смущал и смущает тот период умственного развития Белинского, в течение которого он считал себя обязанным смиряться перед тогдашней русской действительностью. Этот период ставится обыкновенно в вину Гегелю и чаще всего характеризуется словами: «ошибка», «промах», «недоразумение» и т. п. На самом же деле этот период является самым ярким свидетельством в пользу колоссальной силы ума Белинского и как нельзя лучше подтверждает слова кн. Одоевского, сказавшего: «Белинский был одной из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни» [8].

Чтобы убедиться в этом, надо предварительно выяснить себе историческое значение Гегелевой философии, знакомство с которой составило такую важную эпоху в умственной жизни Белинского.

Французские просветители XVIII века твердо верили в силу разума и не менее твердо были убеждены в том, что «мнения правят миром», т. е. что ход развития идей определяет собою ход общественного развития. Потрясающие события конца XVIII и начала XIX столетия подорвали веру в силу «разума», и люди, наиболее вдумчивые, стали приходить к тому убеждению, что ход развития идей не определяет собой хода общественного развития, а, наоборот, сам определяется им. Тогда началась новая фаза в истории общественной науки; вернее сказать, тогда впервые явилась возможность прочного обоснования этой науки. Эпоха реставрации характеризуется упорным стремлением открыть *законосообразность* в ходе исторического развития вообще и умственного развития человечества в

литературе». Тогда же им написана статья об А. В. Кольцове, напечатанная при собрании стихотворений этого последнего, и выпущена брошюра: «Николай Алексеевич Полевой».

частности (напомним знаменитый «закон трех фазисов» Сен-Симона — Огюста Конта). Наиболее выдающиеся историки этой эпохи рассматривают взгляды людей как продукт их общественных отношений, и все исследователи общественной жизни и литературы один за другим переходят *на точку зрения развития.* И этот процесс перехода мы можем наблюдать не только во Франции, где он был вызван вышеуказанным ходом исторических событий, но также и в Германии, внимательно следившей за этими событиями и до известной степени участвовавшей в них. Немецкая идеалистическая философия в лице Шеллинга и Гегеля была философией эволюционной по преимуществу.

Необходимо заметить, однако, что в немецкой идеалистической философии, особенно у Гегеля, учение о развитии приняло *диалектический характер.* Диалектика есть тоже учение о развитии; но она всегда была чужда односторонности, свойственной тому вульгарному учению об эволюции, которое после падения теории катастроф Кювье господствовало в среде естествоиспытателей XIX века, а от естествоиспытателей перешло также и к людям, занимавшимся *общественными* вопросами. Гегель решительно восстал против знаменитого положения: «природа не делает скачков». Он говорил, что люди, отстаивающие это положение, видят лишь один из моментов процесса развития. В действительности *количественные изменения,* постепенно накопляясь, переходят, наконец, в *качественные,* и эти переходы совершаются посредством *скачков.* Известно, что в настоящее время в биологии распространяется теория так называемого скачкообразного развития. Гегель сказал бы, что она подкрепляет одно из основных положений его диалектики. И он был бы прав.

Мы не имеем возможности вдаваться здесь в подробные рассуждения на эту тему. Нам достаточно отметить, что Гегелево, т. е. *диалектическое,* учение о развитии умело отвести надлежащее место не только «скачкам» (изменения качества), но и подготовляющему их процессу постепенного изменения (изменения количества). Ввиду этого нельзя не признать, что прав был Герцен, назвавший философию Гегеля алгеброй революции. Гегель говорил, что «всемирный дух» никогда не стоит на одном месте. «Он постоянно идет вперед, потому что движение вперед составляет его природу». Мы видим отсюда, что последователи Гегеля не имели никаких логических оснований для того, чтобы поддаваться указанному выше разочарованию в силе разума. Напротив, Гегелева философия была как будто нарочно придумана для того, чтобы сбросить с мыслящих людей тяжесть этого разочарования. Вот почему она приобрела такое огромное влияние на германскую, да и не только на германскую, молодежь того времени.

Но те люди, которые в своем стремлении вперед опирались на философию Гегеля, уже не могли довольствоваться в своей борьбе с устарелыми взглядами апелляцией к какому-нибудь отвлеченному принципу, например к принципу вечной справедливости и т. п. Нет, такая апелляция достойна была только «метафизиков». Передовой человек, усвоивший себе дух диалектической философии Гегеля, должен был прежде всего убедиться в том, что его «субъективные» стремления лишь выражают собою «глубокую внутреннюю работу», совершаемую в обществе движением «всемирного духа». Не подкрепляемые этой работой, субъективные стремления признавались произвольными, «призрачными» и заранее осужденными на неудачу.

Ошибались те, которые считали выражением консерватизма знаменитые слова Гегеля: «что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно»[9]. Тут было недоразумение, вызванное незнакомством с терминологией Гегеля. По Гегелю, далеко не все существующее было действительным. Он говорил: «Die Wirklichkeit steht höher als die Existenz» (действительность выше существования)[10]. Случайное существование не есть действительное существование. Действительно только то, что необходимо. А необходимо в последнем счете именно только вечное движение вперед «всемирного духа». Своей «кротовой» работой «всемирный дух» подрывает существующий порядок; превращает его в форму, лишенную всякого «действительного» содержания, и делает необходимым появление нового порядка, роковым образом сталкивающегося со старым.

Не все ученики Гегеля хорошо поняли этот диалектический характер его философии. Да и сам он под старость нередко изменял этому характеру в своем отношении к общественно-политическим вопросам. Его философия была не только диалектической системой. Она хотела также быть *системой абсолютной истины.* И эта претензия составляла *элемент консерватизма* в философии Гегеля. По его учению, всякая философия есть идеальное выражение своего времени. Если мыслитель нашел абсолютную истину, то

это значит, что он жил в такое время, которому соответствовал *«абсолютный»*, т. е. *совершенный*, общественный порядок. А так как *«абсолютная»* истина не может устареть; так как *совершенный* общественный порядок не может оказаться *несовершенным*, то отсюда следует, что стремление изменить этот порядок является бунтом против «всемирного духа». Конечно, и в «абсолютном» порядке могут быть сделаны частные улучшения; но в общем и целом он должен остаться таким же непоколебимым, как непоколебима выражаемая им «абсолютная» истина.

В молодости Гегель сочувствовал Великой французской революции; но с летами любовь к свободе у него все ослабевала, а склонность жить в мире с существующим порядком вещей все усиливалась. Особенно сильно сказалась она в его «Philosophie des Rechts». Это сочинение изобилует гениальнейшими мыслями. И в то же время оно поражает очевидными усилиями автора примирить свою философию с прусским консерватизмом. Особенно поучительно в этом отношении предисловие, в котором знаменитое положение: *«что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно»* — получает уж совсем не то истолкование, какое давалось ему в «Логике». В предисловии выходит, что человек, понявший действительность и открывший скрытый в ней разум, не восстает против нее, а мирится с нею и радуется на нее. Такой человек не отказывается от своей субъективной свободы; но субъективная свобода проявляется у него не в разладе с существующим, а в согласии с ним. Вообще разлад с существующим, разногласие между разумом познающим и разумом, воплотившимся в действительности, вызывается лишь неполным пониманием этой действительности, лишь промахами отвлеченной мысли. Полузнание возбуждает людей против окружающей действительности, истинное же знание мирится с нею. Так рассуждает Гегель в названном предисловии. Просим читателя заметить, что выражение *«примирение с действительностью»* (Die Versöhnung mit der Wirklichkeit) употребляется здесь самим Гегелем [11].

III

Из этого видно, что не правы были те друзья Белинского, которые, подобно Грановскому и Станкевичу, утверждали, что к примирению с действительностью его толкну-

ло плохое понимание Гегеля. Плохое понимание тут, конечно, было; но Белинский повинен в нем не больше, нежели сам Гегель,— тот Гегель, который провозглашал *«абсолютное»* значение своей философии, забывая основную мысль своей *диалектики: все течет, все изменяется*. Очень возможно, что если бы Белинский владел немецким языком и имел достаточно времени для систематического изучения Гегелевой философии, то он гораздо скорее и легче понял бы ее истинный, т. е. диалектический, характер. Очень возможно, а для нас даже несомненно, что не обладавший диалектическим умом Бакунин своим влиянием помешал ему понять, что Гегель изменил своей собственной философии, провозгласив ее системой абсолютной истины. Но все-таки необходимо помнить, что «примирение» Белинского с действительностью не противоречило, по крайней мере, тому Гегелю, с которым мы имеем дело в «Philosophie des Rechts». Это слишком склонны забывать те, которые презрительно пожимают плечами по поводу «ошибки» Белинского: эта ошибка была сделана *вслед за Гегелем*.

Но почему же все-таки мог сделать эту ошибку, хотя бы и вслед за Гегелем, молодой Белинский, составивший себе на основании своего детского и юношеского опыта совсем не отрадное впечатление о нашей русской «действительности»? Чтобы ответить себе на этот вопрос, надо ознакомиться с тем настроением, в котором находился Белинский в период, непосредственно предшествовавший его увлечению Гегелем. Он сам говорил впоследствии, что ранние произведения Шиллера — «Разбойники», «Фиеско», «Коварство и любовь» — внушили ему «дикую вражду к общественным порядкам во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе» [12]. В том же направлении повлиял на него и «Дон-Карлос». «Дон-Карлос,— говорил он,— бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал... и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, сознавал себя — нулем» [13]. Это признание Белинского в высшей степени важно для истории его умственного развития. И всего важнее в нем то, что характеризуемое им настроение, сопровождавшееся сознанием своего бессилия, не могло быть личной особенностью молодого Белинского: он, конечно, не один сознавал себя тогда *«нулем»*. Все те мыслящие русские люди, которые не расположены были восторгаться

существовавшим порядком вещей, должны были сознавать себя совершенно бессильными. Эпоха, к которой относятся юношеские годы Белинского, была очень тяжелой эпохой. Герцен говорит об этой эпохе: «Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место»[14]. Как видим, общественное настроение того времени было именно таково, что человек, не чуждый освободительных идей, должен был сознавать свое бессилие и «чувствовать себя нулем». Нечего и говорить о том, насколько мучительно такое чувство. Белинскому, как кажется, иногда удавалось преодолеть его и настроить себя на оптимистический лад. В своих «Литературных мечтаниях» он, высказав ту мысль, что Россия нуждается пока не в литературе, а в просвещении, утверждал, что наше правительство одушевлено самыми лучшими намерениями по этой части. И, зная Белинского, мы можем с полной уверенностью сказать, что когда он утверждал это, он совсем не кривил душою. Но легко понять и то, что его вера в просветительные намерения тогдашнего правительства не могла быть постоянной, а должна была по временам уступать место самому полному скептицизму: ведь должен же был он видеть, что каждый новый день приносил с собой новые факты, показывавшие полную неосновательность его веры. Да и не могли успехи просвещения удовлетворить юношу, проникнутого «абстрактным героизмом». Такому юноше нужны были несравненно более «героические» перспективы, а их-то и не открывала русская общественная жизнь. И вот почему мимолетный оптимизм Белинского должен был снова и снова сменяться в его душе тем отмеченным выше настроением, в котором он «мучительно сознавал себя нулем». От этого настроения необходимо было отделаться, из этого положения нужно было найти выход. И Белинский неутомимо искал его.

На время он нашел его с помощью Бакунина в философии Фихте. «Я уцепился за фихтиянский взгляд,— говорил он потом,— с энергиею, с фанатизмом»[15]. Это очень характерно и в то же время вполне естественно. По собственному выражению Белинского, в его глазах всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь действительная. Ухватившись за философию Фихте, он почувствовал себя исцеленным от

этой двойственности. Он убедил себя в том, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная... а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота»[16].

Утвердившись на этой точке зрения, Белинский стал тем сильнее враждовать с «так называемой действительной жизнью» во имя идеала. В этом своем периоде, который мы назовем первым периодом его философского развития, первым актом его умственной драмы, он с полным и нескрываемым сочувствием относился к французской революции. Но спрашивается: могло ли быть прочным то нравственное спокойствие, которое он приобрел ценой игнорирования действительности? Ясно, что не могло.

Он объявил действительную жизнь «призраком». Но, должно быть, и призраки не похожи один на другой. Даже современная Белинскому французская действительность очень сильно отличалась от русской, а что касается прошлого, то ведь революция, которой так сильно сочувствовал он теперь, была в свое время фактом «действительной жизни» Франции. И Белинскому достаточно было спросить себя: «почему не знает таких фактов история России?» — чтобы немедленно столкнуться с более общим и более глубоким вопросом: почему «действительная жизнь» одной страны или одного времени не похожа на действительную жизнь другой страны и другого времени? А этот вопрос отнюдь не разрешался «фихтиянским» игнорированием «действительной жизни». Ответить на него мог бы только тот, кто понял бы законы развития «действительной жизни», т. е. решил бы ту задачу, которую, как мы уже знаем, усердно старалась решить общественная наука XIX века.

В одном из своих писем, относящихся уже к следующему периоду его развития, Белинский говорил: «Я ненавижу мысль как отвлечение. Но разве может она приобретаться, не будучи отвлеченной?.. Я понимаю всю нелепость подобного предположения, но моя природа враждебна мышлению»[17]. Само собою разумеется, что он клеветал на себя, называя свою природу враждебной мышлению. Это доказывается многими из его писем и многими из тех блестящих страниц, на которых он излагал теорию литературы. Но несомненно то, что Белинский не терпел произвольных операций с отвлеченными понятиями; он всегда стремился обосновать ход своих идей на объективном ходе вещей. И вот эта-то черта его умственной физиономии — черта,

благодаря которой ему, между прочим, удалось так много сделать для литературной критики,— должна была скоро и сильно отравить ту радость, которую он испытал, повернувшись во имя «идеала» спиной к «действительности». Впоследствии он называл свой фихтеанский период периодом распадения. Этим словом он обозначал то состояние неудовлетворенности, которое он испытал в туманной области оторванного от «действительности» «идеала». И эта неудовлетворенность привела его к разрыву с философией Фихте.

По недостатку данных история этого разрыва до сих пор остается несколько неясной. Однако мы не можем сомневаться в том, что уже во второй половине 1837 г. Белинский находился под влиянием Гегеля и заключил мир с той самой «действительностью», с которой он так сильно «враждовал» прежде. В письме от 7 августа этого года он, советуя одному своему другу заниматься философией, прибавляет: «Только в ней ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя»[18]. Но ведь система Фихте тоже была философией. Почему же она не дала «мира и гармонии» душе Белинского? И почему он нашел их в системе Гегеля? Это объясняют нам другие строки письма, в которых Белинский «пуще всего» предупреждает своего друга от *увлечения политикой,* которая в России будто бы не имеет никакого смысла. «Для России назначена совсем другая судьба, нежели для Франции,— говорит он,— где политическое направление и наук, и искусства, и характера жителей имеет свой смысл, свою законность и свою хорошую сторону»[19]. Этот отрывок отчасти открывает перед нами тот путь, которым Белинский пришел от пренебрежения «действительностью» во имя «идеала» к «примирению» с этой «действительностью». Дело было в том, что, как мы уже знаем, «идеал» возбудил в Белинском горячее увлечение некоторыми страницами действительной истории Франции, а это увлечение, вероятно, заставило его провести параллель между историей Франции, с одной стороны, и историей России — с другой. Параллель эта подсказывала чрезвычайно безотрадный для мыслящего русского человека вывод, от которого можно было отмахнуться только полным отрицанием политики, будто бы не

имеющей в России ни малейшего смысла. А так как подобное отрицание чрезвычайно сильно подкреплялось Гегелем второй манеры — Гегелем, написавшим предисловие к «Philosophie des Rechts»,— то Белинский и ухватился за Гегеля всеми силами своей страстной души *.

Мы видели, что в эпоху своего «фихтиянства» Белинский мучился, сознавая, что его абстрактный идеал не находит никакого приложения к жизни. Увлекшись Гегелем, он повернулся спиной к «идеалу», который не способен был привести ни к чему, кроме бесплодной «вражды» с «действительностью». «Не суйся в дела, которые до тебя не касаются,— восклицал он теперь,— но будь верен своему делу, а твое дело — любовь к истине... К чорту политику, да здравствует наука!»[20]

На какие же вопросы должна была ответить «неистовому Виссариону» наука, ради которой он покидал политику? Это видно из следующих строк его письма к Станкевичу:

«Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин... Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила.— Нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова — это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности,— и кончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде...»[21]

Вопросы, на которые должна была ответить Белинскому наука, были теми же самыми вопросами, за разрешением которых он прежде обращался к «политике». В них нет никакого «отвлечения»; это конкретные вопросы общественного развития: чем объясняется «падение царств»? Законны ли завоевания? На чем основывается владычество штыка и меча? Наконец — и это самый важный и самый глубокий вопрос,— неужели история человечества есть царство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тогдашний социализм умели давать лишь отвле-

* Не так давно в нашей литературе высказан был тот взгляд, что «примирение» Белинского с «действительностью» объясняется особенностями его «личной истории». Но главная особенность «личной истории» Белинского в том и заключалась, что у него были такие теоретические запросы, для удовлетворения которых больше всего могла дать тогда философия Гегеля. Все другие особенности его жизни только подкрепляли собою эти глубокие запросы.

ченные ответы на эти конкретные вопросы: они осуждали известные, несимпатичные им исторические события — например, завоевание одного народа другим,— но не объясняли их. Социализм еще не вышел тогда из своей утопической фазы. Наоборот, философия Гегеля дорожила только конкретными ответами на конкретные исторические вопросы. И она уже отчасти давала такие ответы, опираясь на историю. А в истории сила далеко не всегда противоречит праву. Известен ответ Сийеса защитникам старого порядка, утверждавшим, что права французского дворянства опирались на завоевания: «Только-то? Мы в свою очередь станем завоевателями!» И третье сословие в самом деле «завоевало» себе новое положение в обществе. Всякий тот, кто не ослеплен аристократическим предрассудком, согласится, что *«сила»* этого сословия подкрепляла собою *«право»,* а не отрицала его. Выходит, что вульгарное противопоставление права силе не выдерживает критики, так как сохраняет свой смысл лишь при особенных общественных положениях, с своей стороны объясняемых ходом исторического развития. Эта мысль, выраженная у Белинского словами: «сила есть право, а право есть сила», показалась ему целым откровением. Она в самом деле имеет колоссальное теоретическое значение, а в его глазах приобретала, кроме того, и огромную нравственную ценность: она утешала его, обещая осмыслить донельзя некрасивую русскую действительность. Поэтому он и увлекся ею, положив ее в основу своей знаменитой статьи о Бородинской битве («Отечественные Записки», 1839 г., кн. XII).

Пафосом этой статьи является борьба с тем отвлеченным взглядом на историю, согласно которому историческое движение обусловливается понятиями людей. «Начиная от времен, о которых мы знаем только из истории, до нашего времени,— говорит Белинский,— не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по взаимному сознательному условию известного числа людей, изъявивших желание войти в его состав, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы и гениального, человека»[22]. Любопытно, что Белинский берет в пример именно вопрос о происхождении монархии. По его словам, либеральные говоруны объясняют это происхождение испорченностью людей, которые, убедившись в своей неспособности к самоуправлению, подчинились воле одного лица, ими же облеченного властью. Но такое объяснение кажется ему нелепым. Он говорит: «Все, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему «вне», а не «изнутри» самого себя,— все такое лишено разумности, а следовательно, и характера священности. Коренные государственные постановления священны потому, что они суть основные идеи не какого-нибудь известного народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши в явления, ставши фактом, диалектически развивались в историческом движении, так что самые их изменения суть моменты их же собственной идеи. И потому коренные постановления не бывают законом, изреченным от человека, но являются, так сказать, «довременно» и только выговариваются и сознаются человеком»[23].

Несмотря на некоторую неловкость в употреблении философских терминов, эти строки заслуживают величайшего внимания. Белинский искал критерия разумности общественных явлений. В чем же он нашел его? Во внутренней необходимости: разумно только явление, имеющее «причину в самом себе». Наоборот, неразумны все те явления, которые возникают в силу какого-нибудь чуждого им «вне», т. е. не вызываются внутренней логикой предыдущего общественного развития. «Разумны», а потому и «священны» такие общественные учреждения, которые «диалектически развиваются в историческом движении». На это можно возразить, что чуждое данному явлению «вне» само имеет свою достаточную причину и потому должно быть признано одним из звеньев *другого* необходимого процесса. Так называемые *случайности,* на которые, очевидно, намекает здесь Белинский, имеют место лишь в точке пересечения двух или нескольких необходимых процессов. Пример. Появление испанцев в Перу должно быть признано случайностью с точки зрения логики внутреннего развития государства инков; но оно вызвано было стремлением европейцев к открытию новых стран, а это стремление вовсе не случайно с точки зрения внутреннего развития европейского общества. Но подобное возражение только дополняет мысль Белинского и нимало не подрывает ее. Выражая эту мысль, он показал себя способным подняться на высоту самых важных и самых трудных задач социологии. С тех пор как была высказана им эта мысль, общественная наука не сделала решительно ни одного завоевания, которое не подтверждало бы ее правильности.

Далее. Конечно, не верно то, что коренные обществен-

ные «постановления» являются, так сказать, «довременно». Утверждать это мог только сторонник абсолютного идеализма, по учению которого логические формы жизни предшествуют самой жизни. Но это вопрос другой, не подлежащий здесь нашему рассмотрению. Что касается Белинского, то он и здесь высказывал положение, совершенно верное в *социологическом смысле*. В переводе на наш нынешний язык оно означает, что общественные учреждения возникают не потому, что кто-то захотел установить именно эти, а не другие учреждения, а потому, что они отвечают известным общественным потребностям, возникшим в процессе исторического развития и определившим собою то волевое движение, которое побуждает «общественного человека» к созданию данных учреждений. Усвоить себе эту истину — значит навсегда *распроститься с утопизмом*.

Говорят обыкновенно, что в период своего «примирения с действительностью» Белинский жертвовал личностью во имя «общего». Мы скоро увидим, что он и сам готов был делать себе подобный упрек. Но этот упрек основывается на недоразумении.

«Человек есть частное и случайное по своей личности,— говорит Белинский в той же статье,— и необходимое по духу, выражением которого служит его личность. Отсюда выходит двойственность его положения и его стремлений; его борьба между своим «я» и тем, что́ находится вне его «я», составляет его «не-я»... Чтоб быть действительным человеком, а не призраком, он должен быть *частным выражением общего* или *конечным проявлением бесконечного*. Вследствие этого он должен отрешиться от своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед мировым, общим, признав только его истиною и действительностью. Но как это *мировое* или *общее* находится не в нем, а в объективном мире, он должен сродниться, слиться с ним, чтобы после, усвоив объективный мир в свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностью, но уже действительною, уже выражающею собой не случайную частность, а общее, мировое,— словом, стать духом во плоти» [24].

Белинский «жертвует» *только* такой личностью, «частные» и «случайные» стремления которой *противоречат* «мировому или общему». Но ошибочно было бы думать, что, по его мнению, подобное противоречие неизбежно. Личность может явиться частным выражением общего, т. е. выразить

своими стремлениями великие задачи своего времени. Такая личность называется у Белинского «действительным человеком» и «духом во плоти». И он никогда не имел ни малейшего желания «жертвовать» подобной личностью. Наоборот, на ее стороне были самые горячие его симпатии.

Но то правда, что «действительный человек» или «дух во плоти» должен был, по тогдашнему мнению Белинского, «смириться» перед окружающей его действительностью, признав ее необходимым выражением «мирового или общего». В статье «Менцель, критик Гёте» он пишет: «Разум не создает действительности, а сознает ее, предварительно взяв за аксиому, что все, что́ есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Он не говорит, что такой-то народ хорош, а все другие, непохожие на него, дурны, что такая-то эпоха в истории народа или человека хороша, а такая-то дурна, но для него все народы и все эпохи равно велики и важны, как выражения абсолютной идеи, диалектически в них развивающейся. Для него возникновение и падение царств и народов не случайно, а внутренно-необходимо, и самая эпоха римского разврата есть не предмет осуждения, а предмет исследования» [25]. Тут сразу бросаются в глаза два крупных промаха против *диалектики* Гегеля. Во-первых, необходимо, т. е. действительно, далеко не все то, что есть. Мы уже знаем, что, по Гегелю, «действительное» выше просто существующего. Во-вторых, делая предметом своего исследования «римский разврат», верный ученик Гегеля отнюдь не должен был «смириться» перед ним. Он должен был, напротив, осудить его именно потому, что он является продуктом разложения старой, *отживающей* действительности. Эти две ошибки весьма характерны для тогдашнего настроения и образа мыслей Белинского. Но после сказанного нами выше о двойственном характере Гегелевой философии едва ли нужно повторять, что Белинский сделал эти две ошибки не вследствие непонимания Гегеля, а вследствие слишком последовательного усвоения той стороны его философии, которая выразилась в предисловии к «Philosophie des Rechts».

«Смирившись» перед действительностью, Белинский в течение некоторого времени чувствует твердую почву под ногами и испытывает давно уже не испытанное им нравственное спокойствие. Он говорит, что действительность ввела его в действительность и что теперь им все довольны и он всеми доволен. Как известно, он даже определился на

службу в Межевой институт и наслаждался открывшейся перед ним практической деятельностью. Но это отрадное настроение было непродолжительно. В октябре 1839 г., т. е., *значит, еще до напечатания статьи о Бородинской битве,* Белинский испытывал, по его собственному признанию, тяжелые нравственные мучения. «Для меня никто не существовал,— говорит он,— ибо я сам был мертв»[26]. Это новое «распадение», вероятно, было вызвано отчасти тем, что нелегко было отказаться ему от старого, хотя и «абстрактного», но все-таки свободолюбивого идеала. Панаев и Герцен рассказали в своих воспоминаниях, какие волнующие, полные потрясающего драматизма разговоры пришлось вести Белинскому со своими друзьями после «примирения с действительностью». Обнаружился в этом тяжелом настроении также и недостаток личного счастья. Однако все это сравнительно легко перенес бы Белинский, если бы философия Гегеля, в том виде, в каком он усвоил ее тогда, могла в самом деле разрешить мучившие его вопросы. Главная беда была в том, что она не могла разрешить их. В письме к Боткину, оконченному в первых числах февраля 1840 г., Белинский восклицает: «Смешно и досадно; любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь в книгах, а в жизни— ничто...»[27]. Почему ж «в жизни — ничто»? Когда же Гегель говорил это? Никогда! Но если задача мыслящего человека сводится к познанию и созерцанию «действительности», то ему не остается ничего, кроме «жизни в книгах». «Абсолютные» выводы Гегеля не могли удовлетворить Белинского, и его неудовлетворенность ими снова вернула его к тому «распадению», от которого он надеялся избавиться, «смирившись» перед действительностью.

Белинский надеялся, что философия укажет ему путь к человеческому счастью. А философия Гегеля — повторяем и просим заметить: в том виде, в каком она была усвоена тогда Белинским,— утверждала, что «абсолютная» цель исторического движения уже достигнута и что, следовательно, дальнейшие разговоры о человеческом счастье являются праздной болтовней. Белинский сгоряча способен был смириться и перед этим утверждением; однако оно слишком противоречило его природе, чтоб он долго мог оставлять его без протеста. Из его переписки видно, что именно с этой стороны он подходил к разрыву с «философ-

ским колпаком Егора Федоровича». В письме к Боткину от 13 июня 1840 г. он сообщает, что «совершенно помирился с французами», которых он, как мы знаем, превозносил в эпоху своего фихтеанства и против которых он гремел в медовый месяц своего увлечения Гегелем. «Их всемирно-историческое значение велико,— говорит он.— Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере»[28]. И рядом с этим примирением с французами идет отвращение от *русской,* еще недавно столь любезной Белинскому действительности. В том же письме мы читаем: «Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло»[29]. Как же можно «смиряться» перед подобной действительностью? И Белинский уже не смиряется перед нею. В письме от 4 октября 1840 г.* он восклицает: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью! Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания! Да здравствует разум, да скроется тьма! как восклицал великий Пушкин. Для меня теперь *человеческая личность* выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что́ со мною было — горячка или помешательство ума,— я словно выздоравливающий»[30].

IV

Письма Белинского, относящиеся ко времени этого нового и последнего разрыва с действительностью, производят такое сильное впечатление своим страстным и симпатичным тоном, что под его влиянием читатели нередко упускают из виду теоретическую сторону дела. Так, и до сих пор еще многие убеждены, что, отбросив далеко от себя «философский колпак Егора Федоровича», Белинский совершенно расстался с философией Гегеля. Но это совсем не так.

* К тому же Боткину. Предупреждаем читателя, что все письма, которые мы будем цитировать, не называя адресата, писаны были Белинским именно к этому своему московскому другу.

Уже после своего восстания против «колпака» Белинский, проклиная свои статьи о Бородине и о Менцеле, продолжал считать началом своей духовной жизни то время, когда он увлекался Гегелем. Он называет это время «лучшим, по крайней мере, примечательнейшим временем» своей жизни. Да и статью о Бородинской битве он осуждает не безусловно. Он говорит: «Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения», верна в своих основаниях». Но он признает теперь, что не сумел воспользоваться, как следовало, этой в основе верной идеей: «Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото»[31]. Развить идею отрицания значило открыть, каким образом данная действительность процессом своего собственного развития приводится к своему отрицанию. Как ни гениален был Белинский, он не мог открыть это по той простой причине, что он совсем не обладал необходимыми для этого данными: их еще не было налицо в слишком неразвитой тогда русской жизни. Да и на Западе лучшие передовые умы — в лице так называемого левого крыла Гегелевой школы, а потом, и гораздо более, в лице Маркса и Энгельса — только еще намечали тот путь, который должен был привести к пониманию процесса внутреннего развития нынешнего общества. Поэтому Белинский, восстав против «колпака», стал «развивать идею отрицания» не путем диалектического анализа действительности, а путем апелляции к отвлеченному понятию *человеческой личности.* «Пора,— писал он теперь, конечно, в одном из своих писем, так как цензура не позволила бы говорить это в статьях,— освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен»[32]. По своему обыкновению, он весь отдался овладевшей им новой мысли. «Личность человеческая,— пишет он,— сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»[33]. Под влиянием этой любви к человечеству, которая, конечно, никогда его не покидала, но только приняла теперь новый вид, «неистовый Виссарион» скоро пришел к социализму. В письме от 8 сентября 1841 г. мы читаем: «Я теперь

в новой крайности — это идея *социализма,* которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою веры и знания... Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути жизни»...[34]

Можно было бы думать, что хоть эта новая идея принесла с собою Белинскому столь давно им желанное нравственное успокоение. Увы! В том же самом письме слышатся следующие мрачные ноты: «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни... Мы люди без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, и диво ли, что сами мы — призраки?»[35]

Откуда же брались теперь эти мрачные ноты? Белинского не удовлетворяла *отвлеченная идея* социализма. Он недаром не любил отвлеченностей и недаром прошел превосходную школу Гегелевой логики. Он не мог забыть того, что «субстанция общественной жизни» служит источником интересов, целей и деятельности. Что понимает он под «субстанцией общественной жизни»? Не что иное, как *совокупность общественных отношений.* И когда он говорит, что эта «субстанция» порождает стремления и деятельность человека, это у него значит, что он считает серьезными и плодотворными *только такие* стремления и *только такую* деятельность, которые опираются на объективный ход общественного развития. «Субстанция» русской жизни враждебна прогрессивным стремлениям и прогрессивной деятельности. Поэтому русские сторонники прогресса оказываются «призраками».

Слово призраки нам уже хорошо знакомо. Мы слышали его от Белинского еще в эпоху его увлечения Фихте. Тогда этим словом он обозначал действительность. Во втором периоде своего развития, т. е. «смирившись» перед действительностью, он объявил призраком идеал, вступающий в противоречие с ней. В третьем акте своей умственной драмы он снова восстал против действительности, но люди, отрицающие действительность во имя идеала, по-прежнему представляются ему призраками. Разница только в том, что прежде, находясь под влиянием знаменитого «колпака», он *ненавидел* эти «призраки», а теперь, отшвырнув от себя колпак, он сочувствует им от всей души и считает самого себя одним из них. Оказывается, стало быть, что вос-

стание против действительности не вполне «примирило» его с идеалом. В чем же дело?

Белинский признает нравственную правомерность идеала, но не умеет связать его с «субстанцией» русской действительности. Поэтому его идеал опять оказывается абстрактным и потому бессильным. «Действительность разбудила нас и открыла нам глаза,— говорит Белинский в том же письме,— но для чего?.. Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного к жизни сердца утолить сном ничтожества...» [36]

Не встречая в тогдашней России ни одного объективного начала, способного привести в своем развитии к отрицанию «гнусной действительности», Белинский начал ожесточаться даже против народа, которому он, разумеется, от всей души сочувствовал. В письме к Боткину, по поводу смерти Кольцова, немало пострадавшего от деспотизма своего отца, Белинский спрашивает: «Да и чем виноват этот отец, что он мужик? И что он сделал особенного?.. Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но и не могу питать к тому или другому из них личной ненависти» [37]*.

Мы опять видим Белинского в состоянии «распадения», не переставшего мучить его чуть ли не с самого начала его сознательной жизни. Стараясь вылечиться от этой болезни, он утешает себя надеждой на широкое развитие «русской личности» в будущем. «Русская личность пока — эмбрион,— писал он Боткину в марте 1847 г.,— но столько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость... Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания» [39]. Это решение являлось для него также некоторым ручательством за будущее всего русского народа.

* Подобные выходки его против «мужиков» подали повод к появлению в нашей литературе того мнения, согласно которому в 40-х годах Белинский был в кружке западников представителем чуть ли не антидемократического — или по крайней мере равнодушного к тяжелому положению народа — направления, между тем как Грановский и Герцен представляли собою народолюбивые тенденции этого кружка (см. ст. г. *Ч. Ветринского*, Т. Н. Грановский.— Западники и славянофилы в 1844—1845 гг.[38]). Мы, наоборот, очень склонны думать, что, крайний во всех своих чувствах, Белинский и глубиной симпатии к угнетенному народу превосходил остальных членов западнического кружка.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» он говорит: «Мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...» [40].

V

Это был тот же самый путь отрадных догадок и пророчеств, по которому так далеко ушли славянофилы и народники. Кавелин говорит, что однажды ему пришлось присутствовать при разговоре, в котором Белинский выражал ту славянофильскую мысль, что Россия лучше Запада сумеет разрешить исторический спор труда с капиталом. Утопический социализм, к которому склонился Белинский, расставшись с «колпаком» Гегеля, давал обильную пищу подобным мечтаниям. Но Белинский самым характером своего диалектического ума был застрахован от полного и продолжительного увлечения ими. В цитированной нами статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» он, защищая реформу Петра от славянофильских нападок, замечает: «Подобные события в жизни народа слишком велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того чтобы думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменимую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями» [41]. В другом месте он, не закрывая глаз на отрицательные стороны петровских реформ, оговаривается: «Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него» [42]. Он утверждает, что средство для борьбы с неблагоприятными последствиями петровских реформ надо искать в самих этих реформах, т. е. в тех новых элементах, которые были внесены ими в русскую жизнь. Это вполне

правильный взгляд на вопрос, и, высказывая его, Белинский опять поднимался на ту теоретическую высоту, которой он достигал, ставя перед собой — в статье о Бородинской битве — задачу объяснения действительности ходом создавшего ее исторического движения. И, пока он держался на этой высоте, он очень хорошо видел несостоятельность «абстрактного идеала» и недостатки отвлеченного метода мышления. Он говорил: «Безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным» [43]. Ошибка славянофилов, с которыми он вел такую жестокую войну в то время, была в его глазах, прежде всего *методологической ошибкой:* «Они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листы безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить в другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно» [44]. Это поразительно меткое критическое замечание дает нам возможность составить себе понятие о том, как должен был бы Белинский отнестись к народникам, целиком повторявшим методологическую ошибку славянофилов.

Во всяком случае несомненно, что в конце своей жизни он совершенно отрицательно относился к социалистам-утопистам, о которых он говорил тогда, что они выродились из фантазий гениального Руссо. Луи Блан, которого он ставил когда-то очень высоко, сравнивается им теперь с Шевыревым *. Надо заметить, что взгляд Луи Блана на Вольтера был, по мнению Белинского, верен сам по себе, но он вконец искажался тем, что в нем отсутствовала историческая перспектива. Мысль Белинского с особенной энергией сосредоточивается теперь над выработкой той исторической перспективы, которая помогла бы ему прочно обосновать свои надежды на будущее. Это очень хорошо видно из его письма к Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письмо это до такой степени важно для истории его умственного развития, что мы считаем необходимым привести из него длинный отрывок:

* За его несправедливо отрицательное отношение к Вольтеру. По поводу того же отношения Белинский в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. выражается весьма энергично: «Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану» [45].

«Из Руссо,— говорит Белинский,— я только читал его «Исповедь» и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину... Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствию простого народа! Что он сделал для человечества! Правда, он иногда называет народ vile populace *, но за то, что народ невежественен, суеверен, изувер, кровожаден, любит пытки и казни. Кстати: мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России теперь нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль!.. После этого отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику? Пий IX в два года доказал, что значит великий человек для своей земли. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами» [46].

Кажется, как будто Белинский продолжает стоять на отвлеченной точке зрения человеческой личности. Это, повидимому, подтверждается словами: «всегда и все делалось через личности», и тем убеждением, что для России нужен новый Петр Великий. Но зачем же, собственно, он нужен? Только затем, чтобы дать новый толчок *экономическому развитию России.* И в этом заключается главнейшая особенность новой теории Белинского. *Будущее развитие России ставится теперь им в зависимость от ее экономиче-*

* [Чернью].

ского развития: для гражданского развития России необходимо превращение дворянства в буржуазию. Мы видим теперь, что для развития России в капиталистическом направлении достаточно было экономических последствий той реформы, которая была сделана историческим Петром. Но это не уменьшает в наших глазах проницательности Белинского; мы все-таки должны признать, что он совершенно правильно определил, где может быть найдена разгадка будущей судьбы России как культурной страны *.

Неверно было и то, что народу, т. е., собственно, пролетариату, навсегда суждено оставаться пассивным орудием буржуазии. Этот взгляд Белинского был неверен по отношению к Западной Европе; неверен он был и по отношению к России. Неизбежность развития капитализма в нашей стране не только не осуждала рабочий класс на пассивность, но впервые отводила место — и притом чрезвычайно широкое место — для его исторической самодеятельности. Однако и тут ошибка Белинского не так велика, как представляется с первого взгляда. Ее тоже следует рассматривать в исторической перспективе. Ведь социалисты-утописты, которых Белинский сравнивает теперь со славянофилами, тоже отводили «народу» совершенно пассивную роль в своих построениях: они тоже надеялись только на высшие классы. Лишь научный социализм правильно определил то участие, которое суждено принять «народу» в прогрессивном развитии современного общества. Белинский не дожил до той поры, когда научный социализм окончательно сложился в стройную теорию. Но его гениальная мысль, уже вскоре после выступления его на литературное поприще, поставила перед ним такие теоретические задачи, правильное решение которых прямым путем вело к научному социализму. Именно потому у него и не могло быть продолжительного мира с «абстрактным идеалом». Он говорил: «Все наши вожди Моисеи, а не Навины» [48]. И его самого можно назвать Моисеем, стремившимся вывести себя и своих единомышленников из бесплодной пустыни «абстрактного идеала».

* В своем «Дневнике» Герцен писал 17 мая 1844 г., что Белинский смотрит с отчаянием на славянский мир, не понимая его [47]. Теперь приходится сказать, что Белинский гораздо вернее Герцена определил социологические условия, необходимые для дальнейшего развития России в частности и славян вообще.

VI

Переходя к литературным взглядам Белинского, мы прежде всего заметим, что немецкая философия имела на них такое же решающее влияние, как и на его общественные взгляды. Очень заблуждались те историки нашей литературы, которые находили, что увлечение Белинского Гегелем вредно повлияло на развитие его эстетических понятий. На самом деле все эти понятия именно сильными своими сторонами всецело коренились в немецкой философии, и, в частности, в философской системе Гегеля.

Влияние немецкой философии на развитие нашей литературной критики начало сказываться еще раньше появления Белинского. Так, его непосредственный предшественник в критической области, Надеждин, справедливо считается проводником в нашу литературу эстетических взглядов Шеллинга. Да и раньше Надеждина были у нас писатели, сознававшие, что именно в немецкой философии следует искать указаний для выработки правильного взгляда на состояние и задачи русской литературы. Скончавшийся в марте 1827 г. Д. Веневитинов в своей заметке «Несколько мыслей в план журнала» говорил: «Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления» [49]. Та же заметка объясняет нам, почему тяготели к немецкой философии мыслящие люди того времени. Перед Веневитиновым стояло два вопроса: «Какими силами двигается она (Россия.— *Г. П.*) к цели просвещения? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех?» [50] Русская литература не отвечала на эти вопросы, и, по замечанию Веневитинова, «беспечная толпа наших литераторов» даже не подозревала их важности. Немецкая философия, конечно, тоже не занималась этими вопросами, поскольку они относились специально к России. Но она давала метод, обещавший привести к их решению. Держась точки зрения развития, она смотрела на литературу каждого данного народа, как на выражение его «духа», в

свою очередь являющегося одной из ступеней в развитии абсолюта. Поэтому выработать правильный взгляд на литературу данного народа значило прийти к пониманию его «духа», т. е. исторической роли. Отсюда видно, что литературные взгляды людей, усвоивших себе немецкую философию, должны были находиться в самой тесной связи с их философски-историческими, а следовательно, и публицистическими взглядами. И не удивительно, что Белинский, обладавший, как мы видели, чутьем гениального социолога, оказался в то же время и самым глубокомысленным из наших критиков.

Влияние немецкой философии заметно уже на первой его статье «Литературные мечтания», написанной значительно раньше его увлечения Гегелем. «Каждый народ,— говорит он там,— вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит» [51]. Сообразно с этим и литература каждого данного народа — если только она действительно заслуживает названия литературы — представляет собой, по мнению Белинского, «собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений» [52]. Русская литература еще не является выражением внутренней жизни русского народа. В ней было известное число талантов и известное число художественных произведений. Но исключения, как бы блестящи они ни были, только подтверждают собой общее правило. Наша литература была подражанием западным литературам. Потому Белинский говорит и «повторяет это с восторгом, с наслаждением», что у нас нет литературы. Он считает своею нравственною обязанностью настойчиво доказывать это. «Благородная нищета,— восклицает он,— лучше мечтательного богатства! Придет время — просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится,

и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!» [53]

Когда же у нас будет литература? Она будет тогда, когда у нас образуется общество, в котором выразится физиономия «могучего русского народа». Это не только литературная программа, а также программа желательного общественного развития. Понятно поэтому, что решение вопроса о нашей литературе сознательно связывается Белинским с вопросом о ходе нашего общественного развития со времен Петра Великого. Таким образом, уже в первой своей статье Белинский старается найти для своих литературных суждений философски-историческое, или, как мы сказали бы теперь, социологическое, основание.

Если литература служит выражением народной жизни, то первое требование, которое может быть к ней предъявлено критикой, состоит в правдивости. Отсюда видно, как благодетельно было влияние немецкой философии на развитие нашей критики. Немецкая философия подготовила критику к правильной оценке того реализма, который так блестяще расцвел в нашей литературе с появлением Гоголя. Известно, с каким восторгом приветствовал Гоголя Белинский. В замечательной статье «О русской повести и о повестях Гоголя», появившейся в 1835 г. в «Телескопе», Белинский так характеризует достоинство этих повестей: *«Совершенная истина жизни* (в повестях Гоголя) тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его» [54]. Но жизнь чрезвычайно разнообразна в своих проявлениях, и нельзя требовать от всех художников одинакового к ней отношения: один подходит к ней с одной стороны, другой — с другой. «Если Ган Исландец,— говорит Белинский,— может существовать в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, как человека, обожаю Позу, как героя, и ненавижу Гана Исландца, как чудовище; но как создания фантазии, как частные явления общей жизни они для меня все равно прекрас-

ны»[55]. В этих строках, опять взятых нами из «Литературных мечтаний», полезно отметить отношение Белинского к Шиллеру; он «любит» его Карла Моора и «обожает» маркиза Позу. Считал ли он тогда «Разбойников» и «Дона-Карлоса» верным изображением жизни? Не совсем. Но он относил их, как и «почти все драмы Шиллера», к числу таких произведений, «которых предмет есть жизнь действительная, но в которых эта жизнь как бы пересоздается и преображается или вследствие какой-нибудь любимой, задушевной мысли, или одностороннего, хотя и могучего, таланта, или, наконец, от избытка пылкости, не дающей автору глубже и основательнее вникнуть в жизнь и постичь ее так, как она есть, во всей ее полноте»[56]. Несколькими строками ниже Белинский замечает, что хотя Карл Моор говорит много, однако в его словах нет и тени фразеологии: «Дело в том, что здесь говорит не персонаж, а автор, что в целом этом создании нет истины жизни, но есть истина чувства, нет действительности, нет драмы, но есть бездна поэзии; ложны положения, неестественны ситуации, но верно чувство, но глубока мысль»[57]. Это место очень важно. Высказанный в нем Белинским взгляд на *эстетические достоинства драм* Шиллера остался у нашего критика неизменным до конца его жизни. И если тем не менее коренным образом изменялось его отношение *к самому* Шиллеру, то это объясняется переменами в публицистических, а не в эстетических взглядах Белинского. Мы сейчас увидим, как отразилась эта перемена на его критической деятельности, а теперь напомним читателю, что в статьях, цитируемых нами теперь, мы имеем дело еще с тем Белинским, который не только не мирился с окружавшей его действительностью, но презирал ее и в этом своем отрицательном настроении приближался к тому периоду своей жизни, когда, увлекшись философией Фихте, он объявил идеал действительностью, а действительность — призраком. В этом отношении чрезвычайно характерно окончание его статьи «Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы». Мы там читаем: «Литература есть народное самосознание, и там, где нет этого самосознания, там литература есть или скороспелый плод, или средство к жизни, ремесло известного класса людей. Если и в такой литературе есть прекрасные изящные создания, то они суть исключительные, а не положительные явления, а для исключений нет правила...»[58].

С точки зрения человека, придающего огромное значение идеалу, не может казаться достойной уважения такая действительность, которая в своем развитии еще не привела народ к самосознанию. И для такого человека естественно — при известных привычках ума — объявить *такую* действительность призраком. Но объявить призраком неприятную действительность еще не значит покончить с ней. Где путь, ведущий народ к самосознанию? Мы уже знаем, что в эту эпоху Белинский видел такой путь в просвещении. Нам известно также, что в статье «Литературные мечтания» он высказал уверенность в том, что русское правительство очень серьезно озабочено интересами просвещения. Но он, разумеется, не мог думать, что служители идеала имеют право успокоиться на своей вере в просветительные намерения правительства. Нет, эти люди с своей стороны должны работать на пользу просвещения. Особенно много могут сделать в этом случае литературные критики. По тогдашнему мнению Белинского, критика должна поставить себе у нас главным образом просветительную задачу. «У нас — писал он в статье «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя» (1836),— принесет пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у нас должна являться многоречивою, говорливою, повторяющею самое себя, толковитою. Ее целью должен быть не столько успех науки, сколько успех образованности. Наша критика должна быть гувернером общества и на простом языке говорить высокие истины. В своих началах она должна быть немецкою, в своем способе изложения — французскою. Немецкая теория и французский способ изложения — вот единственный способ сделать ее и глубокою и общедоступною»[59].

Подобно французским просветителям XVIII века, Белинский держался тогда того убеждения, что «мнения правят миром». Увлечение субъективным идеализмом Фихте было бы особенно благоприятно для яркого литературного выражения субъективного взгляда на историю. Но внешние обстоятельства сложились так, что именно в эпоху этого увлечения Белинский вынужден был прервать свою литературную деятельность. В октябре 1836 г. «Телескоп», выходивший в этом году вместе с «Молвой», был запрещен за напечатание знаменитого первого «Философического письма» Чаадаева, и Белинскому представился прекрасный случай проверить основательность своей надежды на просвети-

тельные намерения правительства. Тогда он, должно быть, с особенной силой почувствовал себя и себе подобных служителей идеала «нулями». Тяжесть его положения увеличивалась еще тем, что закрытие «Телескопа» лишило его почти всяких средств к существованию. Но бедность, пережитая им в то время, не остановила энергичной работы его мысли. Как уже сказано выше, в 1837 году начинается его увлечение Гегелем, и когда весной 1838 года он вновь выступает литературным критиком на страницах «Московского Наблюдателя», на некоторое весьма, впрочем, непродолжительное время попавшего в руки его друзей, он говорит уже как человек, презрительно повернувшийся спиной к абстрактному идеалу и примирившийся с действительностью.

В критической статье, написанной по поводу 2-го издания сочинений Фонвизина и 5-го издания сочинений Загоскина, Белинский вслед за Ретшером определяет задачи философской критики художественных произведений. «Художественное произведение,— говорит он там,— есть органическое выражение конкретной мысли в конкретной форме. Конкретная идея есть полная, все свои стороны обнимающая, вполне себе равная и вполне себя выражающая, истинная и абсолютная идея,— и только конкретная идея может воплотиться в конкретную, художественную форму. Мысль в художественном произведении должна быть конкретно слита с формою, т. е. составлять с ней одно, теряться, исчезать в ней, проникать ее всю»[60]. Сообразно с этим философская критика художественного произведения должна прежде всего определить идею, воплотившуюся в нем. Затем она должна убедиться в том, что идея, вдохновившая собою художника, проникает все части разбираемого произведения. В истинно художественном произведении нет ничего лишнего; все его части составляют одно неразрывное целое, и даже те из них, которые, по-видимому, чужды основной его идее, служат для более полного ее выражения. Для примера Белинский приводит «Отелло», в котором «только главное лицо выражает идею ревности, а все прочие заняты совершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, основная идея драмы есть *идея ревности*, и *все* лица драмы, каждое имея свое особое значение, служат к выражению основной идеи»[61].

Полное понимание художественного произведения возможно только через посредство философской критики, обязанность которой заключается в том, чтобы найти в частном

и конечном проявлении общего и бесконечного. Но историческая критика должна также уметь определить историческое значение данного произведения искусства. Есть немало таких произведений, которые не имеют большой цены в художественном смысле, но очень важны как материал для истории искусства. С исторической точки зрения рассматривает Белинский многие явления русской литературы. Кантемир, Сумароков, Херасков, Богданович, Фонвизин, Капнист и прочие важны в глазах Белинского как «моменты развития общественности» в России.

С той же точки зрения приобретает свое относительное достоинство и французская критика. Белинский упрекает ее в том, что она не признает законов изящного и не обращает внимания на художественные достоинства произведения, ограничиваясь отысканием в нем «момента гражданского и политического». Недоволен Белинский и тем, что французская критика слишком много занимается личностью писателя и внешними обстоятельствами его жизни. По его словам, для понимания трагедий Эсхила и Софокла нам вовсе не нужно знать, что делалось при этих писателях в Греции. В художественных произведениях французская критика ничего не объясняет; но она имеет свою цену там, где речь идет о произведениях, обладающих не художественным, а историческим значением: таковы, например, сочинения Вольтера.

VII

В этих замечаниях Белинского о французской критике немало верного, но еще больше в них ошибочного. Упрек, направляемый им против французской критики, применим, например, к Сент-Беву, который в своих литературных характеристиках в самом деле слишком увлекался частными подробностями жизни писателей, не обращая надлежащего внимания на общий характер той исторической среды, в которой они жили и действовали. Но Белинский был совершенно не прав, говоря, что для понимания греческой трагедии нет нужды знать историю Греции, а достаточно выяснить себе роль греческого народа в абсолютной жизни человечества. В этой его ошибке сказалась слабая сторона немецкого идеализма, объяснявшего историческое движение человечества законами развития «идеи» и смотревшего на историю, как на прикладную логику. Впрочем, в лице

Гегеля абсолютный идеализм не всегда закрывал глаза на конкретные причины внутреннего развития человеческих обществ. В эту эпоху своей жизни Белинский гораздо больше Гегеля злоупотреблял априорными логическими построениями и пренебрегал фактами. Да оно и понятно. Мы уже знаем, что тогда он увлекался Гегелем не как диалектиком, а как провозвестником абсолютной истины. С точки зрения такой истины он и смотрел тогда на литературу. «Задача истинной критики,— говорит он в своем разборе «Очерков русской литературы» Н. Полевого,— отыскать в созданиях поэта общее, а не частное; человеческое, а не людское; вечное, а не временное; необходимое, а не случайное и определить на основании общего, т. е. идеи, цену, достоинство, место и важность поэта»[62]. Но если критике нет дела до временного, то это значит, что она вообще может игнорировать историю. Тут Белинский опять заходил несравненно дальше своего учителя Гегеля. Он писал о Вольтере: «Вольтер в своем сатанинском могуществе, под знаменем конечного рассудка, бунтовал против вечного разума, ярясь на свое бессилие постичь рассудком постижимое только разумом, который есть в то же время и любовь, и благодать, и откровение»[63]. С этим не мешает сопоставить следующий отзыв Гегеля о французском освободительном движении XVIII века — движении, в котором Вольтер играл, как известно, весьма выдающуюся роль: «Это был величественный восход солнца,— говорил Гегель.— Все мыслящие существа радостно приветствовали наступление новой эпохи. Торжественное настроение господствовало над этим временем, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые его примирение с божеством»[64]. Это совсем не похоже на то, что говорит Белинский. Но это было написано Гегелем-диалектиком, а не Гегелем — провозвестником абсолютной истины. Гегель — провозвестник абсолютной истины вовсе не склонен был «радостно приветствовать» приближение революционных событий. А ведь в эпоху своего «примирения с действительностью» наш критик шел именно за этим Гегелем.

Мы уже сказали, что, отбросив от себя «философский колпак» Гегеля, Белинский — вопреки почти общепринятому мнению об этом эпизоде его жизни — остался на точке зрения Гегелевой философии. Разница была лишь в том, что прежде он увлекался «абсолютными» выводами Гегеля, а теперь стал применять его диалектический метод. Это

особенно заметно на развитии его литературных взглядов: они изменились преимущественно в том смысле, что в них проник элемент диалектики.

Вот пример. Помирившись с действительностью, Белинский утверждал, что критика должна найти то «общее» и «необходимое», которое заключается в художественном произведении. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.», т. е. уже в самом конце своей деятельности, Белинский писал: «Поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое»[65]. Нельзя не видеть, что это в сущности один и тот же взгляд. Но в этот взгляд проник элемент диалектики и произвел в нем чрезвычайно важные изменения. Теперь Белинский уже не противопоставляет «общего» «временному» и не отождествляет «временного» со «случайным». Теперь у него выходит, что «общее» развивается во времени, придавая временным явлениям их исторический смысл и их существенное содержание. «Временное» «необходимо» именно потому, что необходимо развитие «общего». «Случайно» только то, что не имеет никакого значения для хода этого развития. Так смотрит теперь Белинский. И при внимательном чтении тех его сочинений, которые относятся ко времени, последовавшему за восстанием его против «философского колпака», нетрудно видеть, что именно указанной нами переменой в основных его философских взглядах, т. е. проникновением в них диалектического элемента, обусловливаются самые важные из перемен, совершившихся в его литературных взглядах.

Покинув «абсолютную» точку зрения, Белинский стал иначе, нежели прежде, смотреть на историческое развитие искусства. Уже в замечательной статье о Державине, относящейся к 1843 г., он писал: «Нет идей, которые и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется как факт — как предмет или как действие. Осуществление идеи в факте имеет свои непреложные законы, из которых главнейший — *последовательность* и *постепенность*. Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, движется диалектически, из низшей ступени переходя на высшую. Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа явилась не вдруг, готовая, но имела свои дни или свои моменты творения... Тот же закон существует и для искусства»[66]. Так как содержанием искусства служит та же вечная идея, которая своим

диалектическим развитием определяет все историческое движение человечества, то понятно, что развитие искусства тесно связано со всем развитием общественной жизни. Великий поэт только потому и велик, что является органом и выразителем своего времени и своего общества. «Чтоб разгадать загадку мрачной поэзии такого необъятно колоссального поэта, как Байрон,— говорит Белинский,— должно сперва разгадать тайну эпохи, им выраженной, а для этого должно факелом философии осветить исторический лабиринт событий, по которому шло человечество к своему великому назначению — быть олицетворением вечного разума, и должно определить философски градус широты и долготы того места пути, на котором застал поэт человечество в его историческом движении. Без того все ссылки на события, весь анализ нравов и отношений общества к поэту и поэта к обществу и к самому себе ровно ничего не объяснят» [67].

Теперь Белинский готов, кроме того, считаться также с влиянием географической среды — не в переносном, а в прямом смысле этих слов,— хотя, впрочем, эта сторона предмета слишком мало разработана в его сочинениях.

В эпоху своего увлечения абстрактным идеалом Белинский, как мы знаем, «любил» героев Шиллера. «Смирившись» перед действительностью, он писал, что первые произведения Шиллера, т. е. те самые, героев которых прежде так «любил» Белинский, решительно безнравственны в отношении к абсолютной истине и высшей нравственности. Шиллер в них «хотел осуществить вечные истины и осуществил свои личные и ограниченные убеждения, от которых потом сам отказался. Так как он в них задал себе задачу и назначил цель вне искусства, то из них и вышли поэтические недоноски и уроды, явления совершенно ничтожные в области искусства» [68]. После своего восстания против Гегеля Белинский называет Шиллера благородным адвокатом человечества, яркой звездой спасения и т. д. Кажется, нельзя измениться резче в своих отношениях к писателю. Но это только так кажется.

Почему Белинский опять превозносит теперь Шиллера? Потому, что он увлекается теперь идеей «личности», которая для него «выше истории, выше общества, выше человечества». Он не запрещает теперь мыслящей личности восставать против действительности; наоборот, он восхищается ее протестом против «кровавых предрассудков предания». Вместе

с этим изменяются и его суждения о писателях, поэтически выражающих стремления личности, борющейся с общественными предрассудками. В этом и заключается вся тайна перемены в его отношении к Шиллеру. Белинский не называет теперь его драм безнравственными, он даже очень хвалит их, но хвалит с особенной точки зрения. Он называет шиллеровские драмы великими вековыми созданиями, тут же прибавляя, однако, что их не должно смешивать с настоящей драмой нового мира. Это значит, что они плохи как драмы и хороши лишь как лирические произведения. Вот почему Белинский и замечает: «Надо быть слишком великим лириком, чтобы свободно ходить на котурне шиллеровской драмы: простой талант, взобравшийся на ее котурн, непременно падает с него прямо в грязь. Вот отчего все подражатели Шиллера так приторны, пошлы и несносны» [69].

Иначе сказать, на драмы Шиллера, *как на таковые,* Белинский всегда смотрел одними и теми же глазами. Изменялось только его отношение к свойственному этим драмам *субъективному элементу.* В эпоху своего «примирения» с действительностью Белинский сводил роль субъекта к созерцанию объективного разума этой действительности; все, что выходило за пределы этой созерцательной роли, осуждалось им как промах незрелого субъективного «мнения». А в эпоху своего *восстания* против действительности он не мог не сочувствовать тем «личностям», которые, подобно ему, боролись с рутиной. В третьем периоде своей жизни он сочувствовал тому, что резко осуждалось им во втором ее периоде и что нередко вдохновляло его в первом ее периоде. Но на литературные его суждения эти перемены влияли мало, а если и влияли, то разве лишь в смысле углубления этих суждений. Говоря это, мы имеем в виду особенно второй период его развития. Вот, например, в высшей степени важно следующее место в его статье об «Очерках Бородинского сражения»: «Мы думаем и убеждены, что уже проходит в нашей литературе время безотчетных возгласов с «ахами» и восклицательными знаками и точками для выражения глубоких идей без всякого смысла; что проходит уже время великих истин, с диктаторскою важностию изрекаемых и ни на чем не основывающихся, ничем не подтверждающихся, кроме личного мнения и произвольных понятий мнимого мыслителя... Вопрос не в том, *как кажется,* а в том, *как есть* в самом деле, и этот вопрос может решать-

ся не *мнением*, а *мыслию*. Мнение опирается на случайном убеждении случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе — очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на собственном внутреннем развитии из самой себя, по законам логики»[70].

Противопоставлять то, что есть на самом деле, тому, что только кажется,— значит отвергать приговоры, постановляемые во имя отвлеченных понятий, и стремиться обосновать свои суждения с помощью анализа объективной действительности. Нечего и говорить, что от подобного стремления Белинский как литературный критик ровно ничего не терял, а очень много выигрывал.

Один из наших историков литературы высказал ту мысль, что в эпоху своего «примирения» с действительностью Белинский отвергал всю «субъективную лирику». Но всякая лирика субъективна. А между тем Белинский никогда не отвергал лирики Гёте или Кольцова.

VIII

Постараемся в немногих словах формулировать эстетический кодекс нашего критика.

Первый закон этого кодекса гласит, что поэт должен показывать, а не доказывать, мыслить образами, а не силлогизмами. Этот закон вытекает из того определения поэзии, согласно которому она есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах.

Но если предмет поэзии есть истина, то правдивость составляет первое условие художественного творчества, а красота заключается в истине и простоте. Поэт должен изображать жизнь, как она есть, не прикрашивая ее и не искажая. Это второй закон художественного кодекса Белинского.

По смыслу его третьего закона, идея, лежащая в основе художественного произведения, должна быть конкретной идеей, охватывающей весь предмет, а не какую-либо его сторону.

В силу четвертого закона форма художественного произведения должна соответствовать его идее, а идея — форме.

Наконец, единству мысли должно соответствовать единство формы. Это значит, что все части художественного произведения должны составлять одно гармоническое це-

лое. Это пятый и, если не ошибаемся, последний основной закон эстетического кодекса Белинского.

Против этого кодекса трудно возразить что-либо по существу. Как не признать, что форма художественного произведения должна соответствовать его идее или что поэт мыслит образами, а не силлогизмами? Но этот кодекс не помешал Белинскому осудить французскую «классическую» трагедию, а это осуждение было несомненной ошибкой. Еще в статье о сочинениях Державина (1843 г.) Белинский писал: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтоб решить, *чем должно быть искусство, а в том, что такое искусство*. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием»[71]. Это как нельзя более справедливо. Но, обдумывая свой эстетический кодекс, Белинский не всегда помнил золотое правило, высказанное им в только что приведенных нами строках. В его литературных суждениях давала иногда чувствовать себя некоторая априорность, сказывавшаяся именно во взгляде на искусство, как на какой-то идеал, который может осуществиться только по данной теории. Чтобы понять происхождение этого недостатка, надо помнить, что, вырабатывая свой кодекс, Белинский стоял на точке зрения немецкой *идеалистической* эстетики, которая, как и вся вообще немецкая идеалистическая философия, при всех огромных достоинствах своих страдала именно априорностью. Если мыслитель смотрит на историю вообще, а стало быть, и на историю искусства в частности, как на прикладную логику, то очень естественно, что у него нередко является искушение строить a priori такие положения, которые могли бы быть правомерны лишь в качестве выводов из фактов. Белинскому, как и Гегелю, случалось поддаваться такому искушению.

К этому надо прибавить, что по причинам, которые мы не можем рассматривать здесь, немецкие эстетики еще со времен Лессинга вели более или менее решительную борьбу с французским классицизмом и что эта борьба обусловливала собою некоторую односторонность в их взгляде на французскую классическую литературу. Эта односторонность отчасти заразила собой и Белинского, литературные

взгляды которого сложились под преобладающим влиянием немецкой философской эстетики.

Но это частности. В общем необходимо признать, что, именно опираясь на свой кодекс, Белинский мог оказать русской литературе огромные услуги, отбросив, по выражению А. Н. Пыпина, старый романтический хлам и проложив путь для утверждения реализма гоголевской школы. Ко всему этому надо прибавить, что и сам Белинский не всегда одинаково интерпретировал свой эстетический кодекс.

Вот пример. Идея художественного произведения должна охватывать предмет со всех сторон. Что это значит? В «примирительную» эпоху это значило у Белинского то, что поэтическое произведение должно изображать «разумность» окружающей поэта действительности. Если ж оно приводит нас к той мысли, что действительность не совсем разумна, то это показывает, что в нем изображена только одна сторона предмета. Такое истолкование указанного эстетического закона узко и неправильно. Идея ревности не охватывает всех отношений, существующих между мужчиной и женщиной в цивилизованном обществе. Такой конкретной идеи, которая со всех сторон охватывала бы то или другое отношение между людьми, не может быть: жизнь слишком сложна для этого. Белинский понял это, покинув свою абсолютную точку зрения, и потому он стал восхищаться, например, Жорж Занд, произведения которой прежде казались ему односторонними.

Перемены в общественных взглядах Белинского сильнее всего должны были отражаться, конечно, на его понятии о роли искусства в общественной жизни. Во втором периоде Белинский утверждал, что искусство само себе служит целью. В последнем периоде — в этом отношении последний его период сближается с первым, отличаясь от него гораздо более ярким оттенком одной и той же мысли,— он оспаривает так называемую теорию чистого искусства, доказывая, что мысль об искусстве, отрешенном от жизни, есть мысль отвлеченная и мечтательная, которая могла родиться только у народа, чуждого живой общественной деятельности. Однако и теперь он не перестает твердить, что искусство прежде всего есть искусство, т. е. «воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир»[72]. Разница лишь в том, что прежде — во втором периоде — он смотрел на обязанность художника с абсолютной точки зрения, а теперь он смотрит на нее с точки зрения диалектической и потому понимает, что воспроизводящий действительность художник сам находится под ее влиянием. «Личность Шекспира,— говорит он,— просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтер-Скотта невозможно не увидеть в авторе человека, более замечательного талантом, нежели сознательно-широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне... Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других»[73]. Прежде Белинскому нравилась мысль известного стихотворения Пушкина «Чернь», теперь он возмущается ею. «Кто поэт для себя и про себя, презирая толпу,— говорит он в своей пятой статье о Пушкине,— тот рискует быть единственным читателем своих произведений»[74]. Не нравилась теперь Белинскому и мысль пушкинского «Поэта». Поэт должен быть чист не только тогда, когда Аполлон потребует его к своей священной жертве, но и всегда, в течение всей своей жизни. Отрицательное отношение к теории искусства для искусства представляет собой самое крепкое из тех звеньев, которые связывали критику Белинского с критикой 60-х и 70-х годов. На нем следует остановиться.

Белинский не всегда был справедлив в своем отношении к Пушкину. Он думал, что у Пушкина слово «чернь» означает народную массу, но так ли это? В статьях и письмах самого Белинского нередко встречаются нападки на чернь и на толпу. Можно ли было на этом основании упрекнуть его в презрении к народу? В «Ответе анониму» Пушкин восклицает:

Смешон, участия кто требует у света.
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

«Свет» не «народ», не совокупность бедняков, «живущих трудами рук своих».

Мысль стихотворения «Поэт» тоже вряд ли была правильно понята Белинским. Пушкин не дает в нем поэтам разрешения быть пошляками до тех пор, пока Аполлон не потребует их к жертве. Он только говорит, что даже зараженный пошлостью человек способен возрождаться под

влиянием вдохновения. Эта мысль выражена в «Египетских ночах»; это верная и глубокая мысль.

Вообще возражения Белинского сторонникам чистого искусства мало убедительны. Он нередко запутывался в собственных доводах. Чем же объясняются эти промахи гениального ума?

Восставши против Гегеля, Белинский перешел на точку зрения человеческой личности. Но понятие личности — отвлеченное понятие. Мы уже знаем, что грудь Белинского плохо дышала в атмосфере отвлеченности и что он до конца своей жизни стремился доработаться до конкретности миросозерцания. Это стремление чрезвычайно благотворно отразилось как на общественных, так и на литературных его взглядах. Но он не всегда был верен ему; недовольство «гнусной рассейской действительностью» приводило его иногда к таким суждениям, в основе которых лежали только те или другие отвлеченные понятия. Такие суждения были всегда благородны *с нравственной* стороны, но часто неудовлетворительны — *с теоретической*. К их числу принадлежат и вышеуказанные суждения Белинского о Пушкине; Пушкин такой поэт, для понимания которого необходимо покинуть отвлеченную точку зрения.

Но это в конце концов были только отдельные промахи. В общем и целом даже статьи о Пушкине — и даже в особенности эти замечательные статьи — показывают, в какой сильной степени удалось ему в последнем периоде своей жизни разрешить ту задачу, которую он ставил перед литературной критикой еще в статье о Бородинской годовщине: руководствоваться не тем, что кажется, а тем, что есть на самом деле, не мнением, а мыслью.

Но когда он стал приближаться к решению этой задачи, то обнаружилось, что она имеет не тот вид, в каком она ему представлялась прежде. Прежде он думал, что мысль опирается на самое себя, на собственное внутреннее развитие из самой себя, по законам «логики». И в этом убеждении, заимствованном у Гегеля, он оставался еще долго после того, как восстал против действительности. Но к концу своей жизни он совсем расстался с идеализмом Гегеля и стал склоняться к материализму Фейербаха*. А по учению материализма сознание развивается не из самого себя: его развитие обусловливается бытием. Правда, эта истина не была приложена Фейербахом к объяснению истории вообще и истории идеологий в частности. Но этот пробел фейербаховского материализма отчасти пополнялся в том, что касается искусства, самим Гегелем, который в своей «Эстетике», несмотря на свою идеалистическую склонность к априорным построениям, все-таки довольно часто прибегал к чисто материалистическому объяснению развития искусства развитием общественных отношений. К тому же Белинский сам умел делать надлежащие выводы из раз найденных посылок. Как уже отмечено выше, в своем последнем периоде он ставил развитие искусства в причинную связь с «общим характером эпохи», т. е. с характером свойственного этой эпохе общественного движения. Конечно, он выражался тут довольно неопределенно, и эта неопределенность свидетельствовала о неясности его относящихся сюда взглядов. Но неясность взглядов объясняется их неразработанностью, а разработанными взгляды эти и не могли быть в то время. Важно было уже то, что мысль Белинского и здесь умела определить надлежащее направление, а также то, что даже свой неразработанный взгляд Белинский применял иногда в своих критических статьях поистине блестящим образом.

* Это особенно заметно в его статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», где он излагает некоторые основные положения Фейербаховой философии. Так, например, он пишет: «Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед этой массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, через позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить *физический* процесс *нравственного* развития». И далее: «Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело,— словом, *личность*» [75]. Нельзя не узнать здесь основных положений философии Фейербаха, хотя видно, что новая — *материалистическая* — система понятий еще не вполне усвоена Белинским и потому он выражается иногда довольно неточно. В литературном обзоре следующего года, написанном, можно сказать, накануне смерти, Белинский, говоря о задачах нашей литературы, опять высказывает взгляды, свидетельствующие о влиянии на него Фейербаха. Но смерть не дала вполне упрочиться этому новому влиянию. Полным и последовательным представителем взглядов Фейербаха явился в нашей литературе горячий поклонник Белинского — Н. Г. Чернышевский.

IX

Это показывают, между прочим, те же статьи о Пушкине, слабые стороны которых были указаны нами выше. По словам Белинского, Пушкин принадлежал к той школе искусства, пора которой миновала не только в Европе, но даже и в России. История опередила Пушкина, лишив значительную часть его произведений того животрепещущего интереса, который возбуждается тревожным вопросом настоящего времени. Белинский смотрел на Пушкина, как на поэта дворянского сословия. «Везде,— говорил он,— вы видите в нем человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и на любование... Это было причиной, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся»[76].

Объясняя поэзию Пушкина общественным положением России и историческим состоянием того сословия, к которому принадлежал наш великий поэт, Белинский далеко опережал нашу передовую критику 60-х и 70-х годов, главный недостаток которой состоял в том, что она смотрела на литературные явления исключительно с публицистической, а не с социологической точки зрения. В статьях Белинского, написанных в последние годы его деятельности, заключается целая программа, которая до сих пор еще не выполнена нашей литературной критикой и которая только тогда будет выполнена ею, когда она сумеет целиком стать на социологическую точку зрения. Это опять свидетельствует о гениальной силе его мысли.

Не мешает отметить здесь еще одно обстоятельство, насколько мы знаем, до сих пор упускаемое из виду историками нашей литературы. В последние годы своей жизни Белинский настойчиво проповедует «исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов»[77]. (Обзор литературы за 1847 г.) А между тем очень хорошо известно, что в то время он решительно воевал с «рассей-

ской» действительностью (достаточно указать на его знаменитое письмо к Гоголю). Это кажущееся противоречие объясняется тем — *и только тем,*— что теперь он в своих критических статьях держится *уже не Гегелева, а Фейербахова понятия о действительности.* Это понятие отлично от понятия Гегеля о том же предмете: по Фейербаху, действительность есть то, что составляет *истинную сущность предмета, не искажаемую фантазией.* И если Белинский приветствует появление «натуральной школы», то именно потому, что она была, по его выражению, *не риторической, а естественной.* После Белинского уже понятие о действительности отстаивал Чернышевский.

Мы не останавливаемся на драме Белинского «Пятидесятилетний дядюшка». О ней можно сказать одно: она показывает, что, одаренный гениальной способностью «мыслить силлогизмами», Белинский был слаб в «мышлении образами». Еще менее внимания заслуживает юношеское стихотворение нашего автора «Русская быль», напечатанное в «Листке» 27 мая 1831 г. О своих стихотворных попытках сам Белинский отзывался впоследствии очень юмористически.

Резюмируем. Белинский взялся за работу литературного критика, находясь под сильным влиянием немецкой философии. В эпоху своего «примирения» с действительностью, совершившегося под влиянием той же философии, он задался целью найти объективные основы для критики художественных произведений и поставить эти основы в связь с логическим развитием абсолютной идеи. Эти искомые объективные основы он нашел в некоторых законах изящного, формулированных нами выше под именем эстетического кодекса Белинского. В этих законах очень много верного, а то, что в них неверно — т. е., лучше сказать, односторонне,— объясняется точкой зрения идеализма, которой он держался по примеру своего учителя в философии, Гегеля. В последние годы своей жизни он расстался с идеализмом, сблизился с материализмом Фейербаха и видел последнюю инстанцию для критики уже не в развитии абсолютной идеи, а в развитии общественных классов и классовых отношений. От этого нового и в высшей степени плодотворного направления, тождественного с тем направлением, в котором развивалась философская мысль современной ему передовой Германии, критика Белинского отклонялась только в тех случаях, когда он покидал точку зрения диалектической философии и

становился на точку зрения пропагандиста отвлеченных «просветительных» идей (Standpunkt des Aufklärers, как сказал бы немец). Такие отклонения, неизбежные при тогдашних условиях, сделали его родоначальником русских «просветителей», какими были наши передовые критики 60-х и 70-х годов.

Надо прибавить, что материализм Фейербаха не только не препятствовал таким отклонениям, но чрезвычайно способствовал им: в своих *исторических и общественных* взглядах *материалист* Фейербах — подобно французским материалистам XVIII века — оставался *идеалистом*. Вот почему самый выдающийся из наших «просветителей» 60-х годов, Н. Г. Чернышевский, твердо держался Фейербахова материализма, не переставая в то же время смотреть на общественную жизнь с идеалистической точки зрения.

Три первые акта умственной драмы Белинского можно озаглавить так: 1) абстрактный идеал и фихтеанство; 2) примирение с «действительностью» под влиянием «абсолютных» выводов Гегелевой философии; 3) восстание против «действительности» и переход частью на отвлеченную точку зрения «личности», частью на конкретную точку зрения Гегелевой *диалектики*.

Четвертый акт этой драмы начался полным разрывом с *идеализмом* и переходом на *материалистическую* точку зрения Фейербаха. Но рука смерти опустила занавес после первых же сцен этого акта.

Белинский говорил о себе, что он рожден не литературным критиком, а политическим памфлетистом. На самом деле он был рожден философом и социологом, обладавшим при этом всеми данными, необходимыми для того, чтобы стать превосходным критиком и блестящим публицистом. Как велик был его талант памфлетиста, показывает его знаменитое письмо к Гоголю. Мы предполагаем его известным читателю и потому не станем делать из него выписки; вместо этого мы приведем несколько строк из его напечатанной в «Современнике» 1847 г. статьи о той же книге, появление которой подало повод Белинскому написать Гоголю свое письмо.

Заканчивая эту статью, Белинский говорит: «Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу»[78].

Эти строки напоминают то его положение, входящее в состав его эстетического кодекса, что художник мыслит не силлогизмами, а образами, положение, из которого следует, что гениальный художник может быть подчас очень слабым мыслителем.

Всегда слабый здоровьем и в последние годы своей жизни страдавший чахоткой, Белинский скончался в Петербурге 26 мая 1848 года, в 6-м часу утра.

На кладбище — всякий знает теперь, что он похоронен на Волковом кладбище,— его проводили только немногие друзья. Но к этим друзьям, по свидетельству Панаева, присоединились три или четыре неизвестных, вдруг откуда-то взявшихся. Они оставались на кладбище до самого конца погребения и наблюдали за всем происходившим с величайшим вниманием.

Это появление «неизвестных» станет понятным, если мы вспомним, что только смерть спасла Белинского от знакомства с Дубельтом, тогдашним начальником «III отделения». Известна картина Наумова «Белинский перед смертью». В ней изображен действительный случай, имевший место 27 марта, когда на квартиру умиравшего критика явился жандарм с приглашением от Дубельта.

Когда у друзей Белинского явилась мысль разыграть в лотерею его библиотеку, чтобы прийти на помощь его жене и дочери, оставшимся без всяких средств, то это было запрещено названным «отделением».

Крайне нервный и искренний, Белинский не скрывал своих убеждений ни тогда, когда мирился с «рассейской действительностью», ни тогда, когда восставал против нее. Укажем два случая, очень хорошо его характеризующих. Первый случай относится к эпохе «примирения» и рассказан Панаевым. Когда Белинский прочитал ему рукопись своей статьи о Бородинской годовщине, Панаев похвалил статью, но хотел поставить ему на вид, какое впечатление она произведет на читателя. Белинский перебил его: «Я знаю, знаю что — не договаривайте; меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали»... «Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода,— я и без того рискую этак умереть каждый день (и он

улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...» [79].

Другой случай рассказан Герценом и относится к последнему периоду жизни Белинского.

Дело было на вечеринке у одного литератора. Речь шла о «Философическом письме» Чаадаева, причем один магистр находил, что Чаадаев потерпел по заслугам. Присутствовавший на вечеринке Герцен возражал магистру. Но спор тянулся довольно вяло до тех пор, пока в него не вмешался Белинский, резко и решительно ставший на сторону Чаадаева. Замечательнее всего был конец спора.

« — В образованных странах,— сказал с неподражаемым самодовольством магистр,— есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.— Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту; скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом: — А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.— Сказавши это, он бросился в кресло изнеможенный и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен...» [80]

Таков был «неистовый Виссарион».

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развивалась она,— писал Н. А. Добролюбов в 4-й книжке «Современника» за 1859 г.,— Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... В литературных кружках... едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это лучшие люди России!..» [81]

Эти строки показывают нам, как относились к Белинскому наиболее передовые деятели нашей литературы 60-х годов. Но мы не решились бы сказать, что они заключают в себе совершенно правильную оценку значения Белинского. В них кое-что недостает. При всем своем энтузиазме в отношении к Белинскому, Чернышевский, Добролюбов и их единомышленники не были в состоянии оценить во всей ее полноте роль Белинского в истории нашей общественной мысли. Им мешала в этом случае отсталость современных им общественных отношений России. Только тогда, когда развитие этих отношений значительно подвинулось вперед; только тогда, когда сама жизнь свела на конкретную, т. е. экономическую, почву великий спор между славянофилами и западниками о том, по какой исторической дороге суждено идти нашему отечеству,— только тогда явилась наконец возможность дать всестороннюю оценку литературной деятельности Белинского. Только тогда стало ясно, что Белинский был не только в высшей степени благородным человеком, великим критиком художественных произведений и в высшей степени чутким публицистом, но также обнаружил изумительную проницательность в постановке — если не в решении — самых глубоких и самых важных вопросов нашего общественного развития. А когда стало ясным это обстоятельство, тогда само собой выяснилось и то, что уже недостаточно сказать о Белинском: «до сих пор влияние его литературной деятельности чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного»; тогда стало очевидно, что к этому необходимо прибавить, что *и до сих пор каждый новый шаг вперед, делаемый нашей общественной мыслью, является новым вкладом для решения тех основных вопросов общественного развития, наличность которых открыл Белинский чутьем гениального социолога, но которые не могли быть решены им вследствие крайней отсталости современной ему российской «действительности».* Только при этой необходимой поправке становится полной и всесторонней сделанная Добролюбовым оценка литературной деятельности Белинского.